

ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО И КОМПЕНСАТОРНАЯ ПРОЕКЦИЯ В «МЫСЛЕННОМ ВОЛКЕ» АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА

Чэнь Цзямин

Хэйлуцзянский университет, (г. Харбин, Китай)

947019390@qq.com

TRAUMATIC WRITING AND COMPENSATORY PROJECTION IN THE "MYSLENNYI VOLK" ALEXEY VARLAMOV

Chen Jiaming

Summary: The present study is devoted to Alexei Varlamov's novel *The Myslennyi Volk*, focusing on the problem of individual traumatic narration and ethical mutations during the social transformation of Russia in the late nineteenth and early twentieth centuries. Through textual analysis within the framework of semiotic theory, the impact of historical events on individual psyche is investigated, as well as the logic of reconstruction of traumatic memory through symbolic projections (metaphorical images, body writing) in literary space. The results of the study show that the protagonist's "attachment complex" manifests itself as an obsession with the pre-modern ethical order, and her compensatory actions (self-exile, violent catharsis) reflect the loss of identity in the context of social rupture. The study also reveals how Varlamov, through the strategies of micronarrative, elevates individual trauma into a critique of the collective spiritual groundlessness of the Silver Age, offering a literary mirror for comprehending the moral crisis of an era of historical transformation.

Keywords: traumatic writing, symbolic projection, compensatory mechanism, social transformation, "Myslennyi Volk".

Аннотация: Настоящее исследование посвящено роману Алексея Варламова «Мысленный волк», фокусируясь на проблеме индивидуальной травматической наррации и этических мутаций в период социальной трансформации России конца XIX – начала XX века. Посредством текстового анализа в рамках семиотической теории исследуется воздействие исторических событий на индивидуальную психику, а также логика реконструкции травматической памяти через символические проекции (метафорические образы, телесное письмо) в литературном пространстве. Результаты исследования показывают, что «комплекс привязанности» главной героини проявляется как одержимость до-модернистским этическим порядком, а её компенсаторные действия (самоизгнание, насильственный катарсис) отражают потерю идентичности в условиях социального разрыва. Исследование также раскрывает, как Варламов через стратегии микронарратива возводит индивидуальную травму в критику коллективной духовной беспочвенности «Серебряного века», предлагая литературное зеркало для осмысления морального кризиса эпохи исторических трансформаций.

Ключевые слова: травматическое письмо, символическая проекция, компенсаторный механизм, социальная трансформация, «Мысленный волк».

Введение

Роман Алексея Варламова «Мысленный волк» (2014) разворачивается на фоне социальных потрясений России 1914–1918 годов. Посредством деконструкции коллективных иллюзий «Серебряного века» произведение раскрывает системную эрозию, которую историческое насилие производит в духовном мире индивида. Используя Первую мировую войну и Октябрьскую революцию как смысловые координаты, автор сплетает вымышленных персонажей с реальными историческими событиями, фокусируясь на травматическом опыте и этической алиенации личности в период социальной трансформации. Примечательно, что Варламов избегает линейного нарратива «большой истории», вместо этого обращаясь к метафоре «мысленного волка» из молитвы Иоанна Златоуста – коллективному психологическому недугу, порождённому социальным хаосом. Этот символ становится ядром уникальной символической системы, где индивидуальная травма возводится в аллегорическую критику кризиса национального духа.

Современные академические исследования «Серебряного века» преимущественно фокусируются на

аспектах культурного ренессанса [1, с. 23] или анализе идеологического дискурса [2, с. 45], тогда как механизмы символизации травмы в литературных текстах и социальные траектории этических мутаций остаются недостаточно изученными. Хотя Смирнов отмечал тенденции исторического нигилизма в творчестве Варламова, его работа не расшифровала религиозный архетип и психологическую семантику ключевой метафоры – «мысленного волка». В свою очередь, западные теории литературной травмы, сформировав канон военного письма (Caruth, 1996), редко обращаются к латентным духовным кризисам, порождённым социальными трансформациями в мирное время. Эта теоретическая лакуна делает травматический нарратив героини Ули в романе «Мысленный волк» – утрата материнства, жертвенность насилию и потеря идентичности – ключевым литературным образцом для интерпретации.

Анализируя персонажей, борющихся с «мысленным волком», автор акцентирует раны, делающие их уязвимыми для его влияния. Жизненный путь Ули, маркированный материнской депривацией и травмой насилия, становится архетипом травмированного индивида, чьи шрамы транслируются через временные границы.

Данное исследование, опираясь на методологическую рамку семиотики и психоанализа, фокусируется на травматическом письме Варламова в контексте Ули, раскрывая важность психической самозащиты и реконструкции идентичности в эпоху социальных трансформаций.

Отсутствие материнства и амбивалентная привязанность: материнский разрыв и компенсаторная проекция в теории травмы

Уля, одна из главных героинь романа, с детства страдает от преследований «мысленного волка», что проявляется в физической слабости и врожденной хромоте. Ее мать, жертвуя собственной жизнью, совершает молитвенный обряд для защиты дочери, что не только восстанавливает способность Ули ходить, но и позволяет ей бегать с почти сверхъестественной легкостью. С детства Уля обладает храбрым и честным сердцем, сохраняя нравственную чистоту в борьбе с «болезнями эпохи». Однако смерть матери и постоянное присутствие «мысленного волка», подтачивающего ее душевную цельность, приводят к неизлечимой «болезни» героини.

Отец Ули, Комиссаров, работавший механиком, обладал характером, столь же механистичным, как и его профессия. Его эмоциональная холодность и приверженность фиксированным поведенческим паттернам делали совместную жизнь с ним тягостной для мачехи. Разочарованная в «механическом» муже и сталкивающаяся с враждебностью приемной дочери, мачеха предпринимает попытки изменить ситуацию. Она намеренно сближается с Улей, стремясь установить мирное сосуществование и частично исполнить материнскую роль. Однако Уля сохраняет необъяснимую антипатию, оставаясь безучастной к любым проявлениям заботы со стороны мачехи.

Упорная враждебность Ули по отношению к мачехе, усилившаяся после изменения её поведения, уже не сводится к простому неприятию «пришедшей на смену». Её корни лежат в детской травме, вызванной потерей матери. Как отмечает австрийский психоаналитик Мелани Кляйн, ранняя утрата препятствует интериоризации целостного объекта, заставляя индивида расщеплять внешние объекты на «абсолютно хорошие» или «абсолютно плохие» парциальные объекты [12, с. 45]. Лишившись матери в детстве, Уля формирует искаженное восприятие внешних объектов: попытки мачехи сблизиться интерпретируются ею как «предательство» памяти биологической матери, что автоматически относит мачеху к категории «преследующих объектов». Чем активнее мачеха демонстрирует заботу, тем сильнее Уля отвергает её - таким образом она бессознательно «доказывает верность» умершей матери. Согласно теории британского психиатра Джона Боулби, травмированные индивиды отвергают замещающих опекунов, чтобы сохранить воображаемую связь с первичным объектом [4, с. 132].

Враждебность Ули к мачехе - это навязчивая защита «сакральной незаменимости» матери. Принятие мачехи означало бы признание взаимозаменяемости материнской фигуры, что аннулировало бы сакральный смысл материнской жертвы.

Согласно теориям психологической травмы Боулби и Кляйн, мачеха для Ули оказывается неприемлемым объектом, однако для сохранения связи с первичным объектом существование замещающего объекта необходимо. Таким образом, в глубине сознания Ули мачеха занимает позицию «неустранимой идентичности» - её присутствие неизбежно, но интеграция невозможна. Это противоречие формирует амбивалентную динамику привязанности, где мачеха становится проекцией враждебности в качестве «неэффективного замещающего объекта».

Динамика привязанности, укоренившаяся в Уле после смерти матери, становится неискоренимой травмой её привязанностной системы. Ранняя утрата матери формирует первичную травму, которая, согласно теории привязанности Боулби, разрушает «безопасную базу» (Secure Base) - ключевую опору детского развития [4, с. 133]. Мать, совершив молитвенный обряд самопожертвования, дарует Уле способность ходить, но это усиливает экзистенциальный парадокс: Отсутствие целостного объекта привязанности - Уля лишена фигуры, способной заменить мать; Физическая свобода как символ утраты - восстановленная способность к движению становится постоянным напоминанием о «цене» материнской жертвы; Вина как двойное проклятие - убеждение, что «мать погибла ради моего исцеления», создает патологическую связь между телом и травмой. Этот конфликт погружает Улю в онтологический вакуум привязанности, где желание близости сталкивается с невозможностью её обрести.

Мать, пожертвовав жизнью ради восстановления способности Ули ходить, навсегда приковала экзистенциальную легитимность дочери к символическому первородному греху «матрицида». Эта динамика подтверждает лакановский тезис «дар как долг» [13, с. 89] - принятие дара обрекает на вечное этическое бремя. Для Ули материнская жертва становится пожизненной травмой: утрата «безопасной базы» (Bowlby) в детстве деформирует её привязанностную систему, создавая перверсивную архитектуру безопасности. Парадоксально, что восстановленная мобильность, призванная усилить автономию, превращает каждое движение Ули в воплощённую ретрансляцию травмы. Её тело, по выражению Мерло-Понти, становится «живым памятником боли» [14, с. 205], где физическое действие и психическое страдание сливаются в нерасторжимый симбиоз.

Однако наличие у Ули психологии привязанности предотвращает вечную фиксацию разорванного мате-

ринского объекта на образе биологической матери. Чтобы смягчить боль этического долга, активируется компенсаторный механизм, но из-за социальной алиенации в окружении Ули, неконтролируемость замещающих объектов приводит к нарастающему отклонению в построении её безопасной базы, что постепенно усугубляет внутреннее отчуждение героини.

С детства Уля проводит летние месяцы в деревне Высокий Курган на берегу реки Шелома вместе с отцом и мачехой. Там она знакомится с Павлом - другом отца, охотником и писателем, - и его сыном Алёшей. Алёша, с ранних лет привыкший беспрекословно подчиняться отцу, мечтает овладеть охотничьим ружьем «Шор», но вместо этого вынужден заниматься сельским трудом по воле Павла. Наблюдая за этим, Уля воспринимает требования Павла как угнетение свободы Алёши. В порыве протеста она предлагает Алёше бежать в «страну мечты», чтобы обрести освобождение, но терпит поражение: Алёша, сформированный патриархальным подчинением, не способен на бунт. Эта неудача становится косвенной причиной последующей трагедии Ули.

Уля воспринимает свои чувства к Алёше как искреннее стремление к совместному освобождению, однако её мотивация спасти его коренится в неосознанной проекции собственной травмы. Сопереживание и спасительный порыв Ули - это проявление механизма самодругого отражения [9, с. 95], при котором индивид символизирует ядро своей травмы через идентификацию с чужим страданием. Суть этого механизма раскрывается в следующих трёх аспектах.

Резонанс порабощения:

Физическое закрепощение Алёши отцом метафорически отражает «экзистенциальное пленение» Ули - её способность ходить, дарованная матерью, становится клеткой из-за «символической кастрации» [13, с. 92]. Смерть матери разрушает целостность её привязанностных связей, а физические ограничения Алёши материализуют её внутреннюю тюрьму.

Спасение другого как суррогат самоискупления:

Попытка Ули освободить Алёшу - это защитная компенсация утраты контроля [10, с. 63]. Неспособность изменить факт смерти матери трансформируется в манипуляцию судьбой Алёши - символическое восстановление власти над собственной жизнью.

Трагическая попытка ролевой инверсии:

Согласно Фрейду, незавершённый траур порождает компульсивное повторение [7, с. 243]. Действия Ули - бессознательная реплика материнского самопожертвования: как мать «спасла» её тело ценой жизни, так Уля пытается «искупить» этот долг через спасение Алёши. Успех означал бы легитимацию роли «спасителя» и сня-

тие вины за «матрицид».

Однако действия Ули обречены на провал: Алёша в конечном итоге не последовал за ней, а отсутствие свободы указывает на невозможность завершения травматического исцеления. Это идеально согласуется с концепцией «нерепрезентативности травмы» - попытка Ули разрешить онтологическую дилемму на символическом уровне заведомо тщетна, ибо она игнорирует реальные социальные условия.

Отношения Ули и Алёши формируют травматическую связь [9, с. 96], где оба персонажа подвергаются угнетению:

Алёша - физическому закрепощению;

Уля - символической кастрации.

Общий опыт угнетения усиливает спасительный импульс Ули, но отсутствие ответа со стороны Алёши обнажает иллюзорность этой связи. Для Ули отношения становятся инструментом репарации собственной травмы - через роль «спасителя» она конструирует самооценку, но не способна понять истинную суть Алёши.

В интерпретации попытки Ули спасти Алёшу часть исследователей усматривает «гендерное пробуждение» - бунт против патриархальной системы с позиций феминистской идеологии. Однако травматический анализ, приведённый выше, демонстрирует ограниченность такого подхода. Сопротивление Ули отцу Алёши, Павлу, хотя и проявляется как формальный протест против патриархального угнетения, одновременно раскрывает её двойственную зависимость от патриархальных символов.

Рассмотрим ключевые аспекты

Ограниченность бунта:

Глубинный мотив Ули коренится не в гендерном сознании, а в логике компенсации материнской травмы (см. раздел I).

Её сопротивление - побочный продукт травматического стресс-ответа, лишённый структурной критики системы.

Семя эмоциональной алиенации:

Неудача в спасении Алёши предопределяет последующую перверсию чувств Ули к Павлу, сибирскому крестьянину и революционеру.

Многоликость Павла (угнетатель/охотник/покровитель) формирует континуум патриархального насилия, где Уля метается между бунтом и подчинением.

Патриархальное искупление и трансфер травмы - иллюзия спасения и символические проекции в теории травмы

С углублением Первой мировой войны всё больше

российских мужчин отправлялись на фронт, включая отца Ули, Комиссарова, и её первую любовь - Алёшу. На фоне войны мачеха Ули постепенно осознала искренность и незаменимость своих чувств к Комиссарову. Она начала молиться о его безопасном возвращении, а в процессе молитв познакомилась с сибирским крестьянином, приближенным к царю. Согласно слухам, этот крестьянин обладал чудотворной силой: он исцелил наследника престола и завоевал доверие императрицы. После принятия «дара» крестьянина мачеха убедила Улю приблизиться к нему, надеясь, что дочь также станет молиться за отца. В ходе общения с крестьянином Уля постепенно прониклась к нему необъяснимым доверием. Однако позже, из-за множества последователей и противников, окруживших крестьянина, он начал пренебрегать Улей, что заставило её вновь ощутить себя брошенной.

Доверие Ули к сибирскому крестьянину проистекает из двух источников: юношеской тяги к «таинственному» и компенсаторной привязанности, возникшей после разрушения материнского архетипа. Согласно теории архетипов Юнга, при распаде матрицы материнства бессознательное индивида обращается к архетипу мудрого старца в поисках порядка [11, с. 156]. Авторитет крестьянина, подкрепленный царским признанием его чудотворной силы, кодируется как трансцендентный патриархальный символ, что создает для Ули двойную привлекательность. Однако, в отличие от её чувств к Алёше и мачехе, привязанность к крестьянину эволюционирует от травматического повторения к символической фиксации.

Религиозно-символическое искупление Ули:

Чудотворная сила сибирского крестьянина резонирует с тайным желанием Ули «молитвенно воскресить мать». Её доверие к нему - это ложное отождествление, где сакральность материнства переносится на патриархальный символ.

Конструирование замещающей безопасной базы:

Согласно теории привязанности Боулби, травмированный индивид генерализует объект привязанности на любой авторитет, обещающий стабильность [4, с. 130]. Сакральный ореол крестьянина становится для Ули временной точкой опоры в борьбе с экзистенциальной пустотой - символом, на который она опирается при построении искажённой «безопасной базы».

Трансфер нерепрезентативной травмы:

Как отмечает К. Карут [6, с. 72], «нерепрезентативность травмы» проявляется в том, что Уля, неспособная принять боль утраты матери, проецирует ядро травмы на внешнего «спасителя». Её доверие к крестьянину - не рациональный выбор, а попытка заполнить травматическую пустоту. Через привязанность к «священному Дру-

гому» она:

бежит от экзистенциального долга («дар как проклятие»);
переносит непереносимое горе на символический объект;
замещает боль утраты иллюзией «воскрешения через молитву».

После разрыва с сибирским крестьянином Уля встречает нового человека, изменившего её судьбу - революционера Савелия Круда, освобождённого из заключения. Савелий, очарованный молодостью и чистотой Ули, дарит ей сапфир, объявляя его «символом светлого будущего». Он настойчиво зовёт Улю в «светлую и свободную страну», которую сам идеализирует, а она, в свою очередь, проникается к нему романтическими чувствами.

После освобождения Савелий Круд ищет свою «музу», и в Уле он видит воплощение революционной смелости и чистоты, называя её «вершиной творения». Это поведение раскрывает отчуждённую логику желания Другого в лакановской теории: Уля, сознавая истинную природу Савелия, всё равно испытывает к нему чувства, что становится повторным подтверждением её символической кастрации. Под предлогом «поиска музыки» Савелий низводит Улю до объекта художественного творчества, воспроизводя патриархальную логику присвоения женского тела. В его глазах Уля - не реальная личность, а символическое зеркало «революционной музыки», чей образ кодируется через утопические нарративы. Эта проекция соответствует параноидно-шизоидной позиции Кляйн [12, с. 44], где идеализация Другого маскирует фрагментированную целостность «Я».

При первой встрече с Улей Савелий обнаруживает охотничью пулю, которую та хранила как символ унижения - напоминание о случае в деревне Каменный Курган, где охотник Павел случайно ранил её в грудь. Савелий убеждает Улю отдать пулю в обмен на сапфир, объявляя камень «священным артефактом», защищающим от «мысленного волка» и воплощающим «свидетельство светлого будущего». Приняв сапфир, Уля связывает с ним все свои утопические надежды. В лакановском ключе этот обмен (пуля - сапфир) реструктурирует цепь означающих.

Остаток Реального (пуля):

Пуля как материальный носитель травмы маркирует несимволизируемую память о насилии — травматическое ядро Реального.

Фантазм Символического (сапфир):

Сапфир, наделённый Савелием значением «будущего прекрасного мира», становится новым означающим для борьбы Ули с травмой. Однако эта подмена - насильственное замещение Реального Символическим: блеск камня маскирует кровавый след пули, но не устраняет сути травмы.

Исчезновение ауры:

Сапфир как индустриальный продукт (символ революции) теряет свою «ауру» [3, с. 21]. В эпоху механического воспроизводства «аура» вещей исчезает, а сапфир превращается в пустой утопический символ, лишённый подлинности.

Уля в итоге погружается в постреволюционный мир, отказываясь последовать в «идеальное государство» революционеров. Это указывает на её подсознательное осознание иллюзорности символической подмены: она понимает, что утопические обещания - бегство от аутентичного существования [15, с. 180]. Несмотря на то, что сапфир стал связующим звеном с будущим, его значение всегда определяется Другим, что обнажает пассивность травмированного субъекта в Символическом. Если субъект не овладевает агентностью, усиление травматических следов становится неизбежным. Нерепрезентативность травмы делает её ядро непостижимым для Другого, а значит, исцеление через внешнее вмешательство невозможно.

Необходимость насилия и иллюзорность искупления

В финальной части повествования Уля неизбежно влюбляется в отца Алёши - Павла. Этот поворот не случаен: как показано выше, амбивалентные чувства Ули к Павлу - её экзистенциальный выбор «оплаты долга». Мать, пожертвовав жизнью, даровала Уле существование; теперь Уля «возвращает долг», принимая насилие Павла. После того, как Павел ранит её выстрелом, дисбаланс власти между агрессором и жертвой приводит к парадоксальной динамике: жертва привязывается к насильнику, чтобы смягчить экзистенциальную тревогу.

Насилие и покровительство сосуществуют - неизбежность насилия:

Павел как охотник сочетает в себе двойственность патриархальной власти: его насилие (выстрел) и профессиональная идентичность (охота и творчество) формируют два лика доминирования. Переживая пограничный опыт между жизнью и смертью, Уля ошибочно интерпретирует силу агрессора как «божественное право распоряжаться жизнью». Одновременно, обременённая «долгом матрицида», она развивает извращённое благоговение и зависимость от Павла, видя в нём инструмент «спасения матери».

Вариация Стокгольмского синдрома:

Привязанность Ули к Павлу не основана на одобрении насилия, а является психологической защитой от травматического бессилия. Механизм заключается в реинтерпретации насилия как «необходимого испытания», придающего травме смысл [10, с. 66]. Однако, если зависимость от насилия не подразумевает его принятия,

попытки преодоления травмы через эту связь обречены: насилие становится необходимым, ибо альтернативные пути блокируются самой логикой выживания.

Необходимость существования Павла как патриархального символа и объекта насилия также коренится в компенсации материнской утраты. Разрыв матрицы материнства вынуждает Улю обратиться к архетипу Сенекса (мудрого старца) в поисках порядка [6, с. 156]. Павел, как воплощение патриархального символа, проецируется в двух ролях:

«Символический отец»:

Его забота, навыки выживания и внимание к Уле становятся для неё единственным источником порядка в хаосе отсутствия биологического отца. Это порождает нарциссическую привязанность, где Уля идеализирует Павла как гаранта стабильности.

Тираническая сущность Сенекса:

Насилие Павла (выстрел) обнажает деспотическую природу архетипа, превращаясь в метафору патриархальной дисциплины женского тела. «Любовь» Ули - на деле мольба о патриархальной защите, вынужденный выбор зависимости от сильного, ценой добровольного отказа от субъектности.

Неизбежность существования объекта насилия становится корнем самой возможности насильственного бытия, а неустранимость носителей насилия превращается в механизм его воспроизводства.

Согласно Джерому Брунеру, человек структурирует опыт через нарратив, а травма разрушает эту целостность, порождая «нарративный разрыв» [8, с. 54]. Смерть матери Ули и её ранение пулей Павла становятся двумя нарративными чёрными дырами, которые невозможно интегрировать. Однако сама пуля, как точка пересечения этих событий (материнская жертва дарует жизнь, а пуля Павла едва не её отнимает), превращается в медиум, через который Уля пытается сшить разорванную временную линию. Пуля одновременно указывает на прошлое («молитвенный обряд матери») и будущее («выживание после ранения»), создавая хрупкую непрерывность в распадающемся нарративе. С другой стороны, для Ули пуля - доказательство агентности выжившего: «Я приняла насилие, но выбрала сохранить его». Это становится ключом к её трансформации из жертвы в выжившую. Как отмечает Брунер, объекты могут выступать «нарративными агентами» - пуля, как «агент повествования», несёт в себе декларацию Ули: отказ быть сведённой к роли пассивной жертвы. В её приватной символической системе пуля обретает множественные значения:

доказательство насилия,
священная реликвия,
манифест выживания.

Эта поливалентность делает существование пули онтологически необходимым. Сохраняя пулю как материальный объект, Уля невольно легитимирует продолжение насилия.

Пуля вынуждает Улю столкнуться с хайдеггеровской «заброшенностью»: её «жизнь» основана на «смерти» матери и «насилии» Павла. Эта парадоксальность экзистенциального фундамента лишает её возможности обрести подлинность [5, с. 327]. Превращение пули из травматического символа в духовную опору обнажает неспособность Символического интегрировать Реальное. Действия Ули по сохранению пули - это акт отчаянного признания непобедимости травмы: чем крепче она сжимает пулю, тем глубже погружается в клетку символической алиенации.

С завершением повествования объекты привязанности Ули постепенно исчезают:

- Незаменимость матери мачехой так и не достигнута;
- Провал спасения Алёши;
- Забвение со стороны сибирского крестьянина;
- Отказ от утопии революционеров;
- Насильственная природа Павла;
- Потеря сапфира - символа «светлого будущего»;
- Изъятие пули - одновременно метки травмы и доказательства выживания.

Все эти символические подмены обнажают непобедимость травмы. Уля окончательно выбирает путь самопожертвования, где влечение к смерти (Фрейд) становится эхом в пустоте ничто (Хайдеггер).

Когда насилие кодируется как необходимое условие существования, путь искупления субъекта неизбежно ведёт к экзистенциальному тупику саморастворения.

Заключение

Через многомерный анализ травматического пути Ули данное исследование раскрывает ключевую тезу: травма - это не просто разрыв личной судьбы, но продукт сговора структур власти, символических систем и экзистенциальных тупиков. От хайдеггеровской «заброшенности» до соматизированной памяти в нейробиологии, от символического конструирования культурной травмы до нарративного сшивания смыслов - трагедия Ули действует как призма, преломляющая сложность и парадоксальность поисков выхода из лабиринта травмы. Её самопожертвование - не случайная точка финала, а итоговая метафора дилеммы травмированного субъекта в контексте модерна: когда индивид брошен в мир, переполненный насилием, алиенацией и смысловым вакуумом, искупление часто принимает форму саморастворения.

Нарратив Ули - не просто отражение личной трагедии, но зеркало коллективной травмы современного общества:

1. Символическая алиенация цифровой эпохи

В эру алгоритмов и кликбейта индивид, подобно Уле, оказывается брошен в калейдоскоп символов - лайки в соцсетях, виртуальные аватары, цифровые идентичности. Эти «сапфировые утопии» (отсылка к камню-символу) маскируют экзистенциальную пустоту, повторяя логику подмены травмы (К. Карут). Когда «Я» сводится к сменяемому коду в цифровом потоке, нерепрезентативность травмы подавляется технорациональностью.

2. Скрытое системное насилие

Выстрел Павла и культ сибирского крестьянина метафоризируют современные формы угнетения:

Офисный буллинг как аналог «патриархальной дисциплинации»;

Структурная дискриминация, воспроизводящая «травматическую связь» (Херман) через институциональные механизмы.

Власть, как у Фуко, «производит субъективность», заставляя жертв цепляться за иллюзию контроля через циклы «насилия-зависимости».

3. Бедность смысла и потребление искупления

«Голубой сапфир революции» и индустрия self-help разделяют логику травмы как товара:

Курсы «духовного роста» и мотивационные тренинги упаковывают боль в продаваемые нарративы;

Уля, отвергающая утопию, интуитивно сопротивляется этой символической эксплуатации, обнажая отсутствие подлинных альтернатив.

Трагедия Ули даёт три ключевых предостережения современной эпохе:

1. Отказ от символического насильственного сшивания

Когда травма сводится к «психологической проблеме» или «мотивационной истории», её структурные корни замалчиваются. Общество должно признать политическую природу травмы, сопротивляясь превращению индивидуальных страданий в символы культурного потребления.

2. Восстановление телесной субъектности

В эпоху, где технологическая рациональность рас-

членяет телесный опыт, необходимо вернуться к феноменологии тела Мерло-Понти:

«Травма должна быть возвращена в плоть - только через реальное ощущение пульса и шрамов можно избежать алиенации в символические симулякры».

3. Реконструкция этики коллективного нарратива

Нарративный разрыв Ули обнажает крах метанарративов модерна. Нам нужен «полифонический нарратив» (Брунер), позволяющий травме существовать как неза-

вершённый, нелинейный процесс, а не насильственно втискивать её в прокрустово ложе единственного смысла.

Если переосмыслить жертву Ули, она может указать на новую возможность: конечный смысл травмы - не в её преодолении, а в радикальной трансформации способа бытия через признание её нерепрезентативности. Когда общество научится сосуществовать с травмой, а не бежать от неё, «бытие-к-смерти» (Хайдеггер) превратится в «мужество бытия-к-жизни» - подобно «спасительным созвездиям» в «разбитой истории» Беньямина, где надежда рождается не из отрицания руин, а из их приятия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванов А.А. Культурный ренессанс Серебряного века: проблемы интерпретации. Москва: Наука, 2019. 153 с.
2. Петрова Е.В. Идеологические дискурсы в русской литературе начала XX века. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2021. 176 с.
3. Benjamin W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. London: Penguin, 2008. 111 p.
4. Bowlby J. Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. 2nd ed. New York: Basic Books, 1982. 326 p.
5. Bruner J. Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press, 1990. 208 p.
6. Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 147 p.
7. Freud S. Mourning and Melancholia. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. 14. London: Hogarth Press, 1917. 243–258 p.
8. Heidegger M
9. Being and Time. Albany: State University of New York Press, 2014. 294 p. Herman J. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1992. 178 p.
10. Janoff-Bulman R. Shattered Assumptions: Towards a New Psychology of Trauma. New York: Free Press, 1992. 256 p.
11. Jung C.G. The Archetypes and the Collective Unconscious. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1968. 566 p.
12. Klein M. Envy and Gratitude and Other Works 1946–1963. London: Hogarth Press, 1997. 392 p.
13. Lacan J. The Seminar of Jacques Lacan, Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York: W.W. Norton & Company, 1978. 304 p.
14. Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception. London: Routledge, 2012. 569 p.
15. Sartre J.-P. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. Washington: Washington Square Press, 1992. 868 p.

© Чэнь Цзямин (947019390@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»